

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ВАДИМ КОЖИНОВ

Глава 14

Русская Идея (продолжение)

В восьмом номере “Вопросов литературы” за 1965 год стараниями Кожина был напечатан (в сокращённом виде) труд Бахтина “Слово в романе”, написанный в 1934–1935 годах.

И эта работа тридцатилетней давности идеально легла на современную почву, одобренную дискуссиями об “исчерпанности романа”.

Наблюдения и выводы Бахтина, не востребовавшиеся в своё время, совершили подлинную революцию в литературоведении в середине 60-х.

Если “мир поэзии, сколько бы противоречий и безысходных конфликтов ни раскрывалось в нём поэтом, всегда освещён единым и бесспорным словом”, то “роман как целое – это многостильное, разноречивое, разноголосое явление... Слово, пробиваясь к своему смыслу и к своей экспрессии через чужесловесную разноакцентную среду, созвуча и диссонируя с её различными моментами, может оформлять в этом диалогизированном процессе свой стилистический облик и тон. Таков именно художественно-прозаический образ и, в особенности, таков образ романной прозы...”

“Самый диалог в романе как композиционная форма неразрывно связана с диалогом языков, звучащим в гибридах и в диалогизирующем фоне романа... Диалог языков – это диалог не только социальных сил в статике их сосуществования, но и диалог времён, эпох и дней, умирающего, живущего, рождающего: сосуществование и становление слиты здесь в неразрывное единство противоречивого и разноречивого многообразия... Художественный гибрид требует громадного труда: он насквозь простилизован, продуман, взвешен, дистанцирован. Этим он в корне отличается от легкомысленного, бездумного и бессистемного, часто граничащего с простой безграмотностью смешения языков у посредственных прозаиков. В таких гибридах нет сочетания выдержанных систем языка, а просто смешение элементов языков. Это не оркестровка разноречием, а в большинстве случаев просто не чистый и не обработанный прямой авторский язык.

Роман не только не освобождает от необходимости глубокого и тонкого знания литературного языка, но требует, кроме того, ещё знания и языков разноречия. Роман требует расширения и углубления языкового кругозора, уточнения нашего восприятия социально-языковых дифференциаций”.

Этот старый текст по сути утверждал неисчерпаемость, а соответственно, и бессмертие романного жанра, одновременно раскрывая всю сложность обращения с романным словом, ту сложность, что далеко не всякому писателю по плечу. . .

В том же году в Париже вышел 50-й номер журнала *Recherches internationales*, открывавшийся статьёй Кожина "Эстетическая ценность романа", где только что вышедшая книга Бахтина характеризовалась, как "настоящий переворот в изучении Рабле". Следом были напечатаны дискуссионные статьи о романе Альберто Моравиа, Пьера Паоло Пазолини и других европейских знаменитостей. . . Если учесть, что в зарубежных переводах бахтинские "Проблемы поэтики Достоевского" появятся только через два года (на сербско-хорватском и немецком, а ещё через год – на итальянском и японском; оригинальная переработанная редакция, вручённая Витторио Страде, так и исчезнет без следа), а "Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса" – через три года на английском и через пять лет – на французском, – то не подлежит сомнению: дорогу Бахтину в Европу проложил опять же Вадим Валерианович. Тогда приезжающие в ИМЛИ иностранные исследователи в первую очередь интересовались, нельзя ли им встретиться с "профессором Кожинным". . . В то, что этот "профессор" тридцати с небольшим лет оставался скромным кандидатом филологических наук, их, естественно, не оставляли.

Кожина, впрочем, это не то чтобы не волновало – он решил глобальную задачу и был счастлив. Но эта задача была уже позади. Впереди – новое необработанное поле. 1930-е годы – эпоха, многое в которой парадоксальным образом оказалось чрезвычайно современным.

* * *

В 1960 году выходит книга, выпуск которой стал тогда сенсацией. Автор – Аркадий Белинков, послевоенный "сиделец" (которого иные его современники сравнивали аж с Герценом). Книга называлась "Юрий Тынянов". Небезынтересно, что благословила это издание, будучи её ведущим редактором, весьма "кисло" отнёсшаяся к книгам Бахтина и Кожина уже знакомая нам Елена Фёдоровна Книпович (она же напишет Белинкову рекомендацию в Союз писателей. Два других "рекомендатора" – Виктор Шкловский и Юлиан Оксман).

Через пять лет – в 1965-м! – книга выходит вторым изданием в новой, обновлённой редакции. И воспринимается уже несколько иначе.

Кто из читавших тогда – в 60-м – не цитировал с упоением строки из "Смерти Вазир-Мухтара": "Людям двадцатых годов досталась тяжёлая смерть, потому что век умер раньше их.

У них было в тридцатых годах верное чутье, когда человеку умереть. Они, как псы, выбирали для смерти угол поудобнее. И уже не требовали перед смертью ни любви, ни дружбы.

Благо тем, кто псами лёг в двадцатые годы, молодыми и гордыми псами, со звонкими рыжими баками!

Как страшна была жизнь превращаемых, жизнь тех из двадцатых годов, у которых перемещалась кровь!

Они чувствовали на себе опыты, направляемые чужой рукой, пальцы, которые не дрогнули. Время бродило. Всегда в крови бродит время, у каждого периода есть свой вид брожения. Было в двадцатых годах винное брожение – Пушкин. Грибоедов был уксусным брожением. А там – с Лермонтова идет по слову и крови гнилостное брожение, как звон гитары. . . "

Читалось прозрачно и однозначно, как вполне приложимое к 20-м годам XX века – в противоположность тем же 30-м. . . А в новом издании на цитаты разбирался уже сам Белинков.

"В глухие и тёмные годы мировой истории лучше всех низменные интересы своего класса могут удовлетворить именно дураки, ничтожества и мерзавцы. В глухие и тёмные годы мировой истории расползаются по земле тупые и самонадеянные гады, и правит миром торжествующая бездарность".

"Для Тынянова Павловская эпоха, русское самовластие, самодержавие, империя нужны были, чтобы понять, чтобы угрожающе показать, что тираническая власть не может исправиться.

Что она не может быть исправлена.

Что она должна быть уничтожена”.

“Юрий Тынянов писал о поэтах, которые принесли самые верные вести о своём времени, о поэтах, которые были недовольны и которых за это убили.

Юрий Тынянов был одним из немногих художников, писавших о людях, которые протестовали против господствующего мнения о том, что всё на свете прекрасно”.

“Тынянова не занимает вопрос о принадлежности Грибоедова к тайному обществу. Он пишет роман о единстве судьбы повешенных, посаженных, сосланных самодержавием декабристов и о посланном самодержавием на смерть Грибоедове. Тынянов пишет о том, что все талантливые, независимые и непримирившиеся люди навлекали на себя неудовольствие самодержавной власти, о том, что эти люди должны были идти на службу самодержавной власти, или погибнуть, или сопротивляться. Тынянов пишет о революции и об отношении этих людей к разгромленной революции. О тех, кто пошёл, о тех, кто погиб, кто сопротивлялся, кто не сопротивлялся”.

“Как может свободный человек, вольный художник жить в стране рабов, стране господ?!”

Ведь не идти же ему на службу самодержавной власти!

Что же делать свободному человеку, художнику в этой стране?!

Он должен погибнуть или сопротивляться”.

Чуткий и культурный читатель не мог не отвернуться в раздражении от этой современной “лозунгистики”, вышитой на поле тыняновской творческой биографии (Лидия Чуковская в своём дневнике назвала белинковскую литературную работу “смесью шкловитянства с вульгарным социологизмом навыков”)... Но большинством нашей “либеральной” публики “Юрий Тынянов” читался, как трёхслойная книга, впрочем, каждый слой был прозрачен и выставлен на поверхность: в 20–30-х годах XIX века отражались 20–30-е годы XX-го – и всё это смешение эпох транспонировалось на середину 1960-х, новый перелом времени, “конец” так называемой “оттепели”.

Тем больше ярого пафоса вкладывалось в приписываемые Лермонтову строчки о “стране рабов, стране господ”, которые уже Белинков произносил лично от своего имени.

“Я – листовочник! – вопил он. – Я уничтожу Олешу, Каверина, Шкловского. Я буду уничтожать нашу интеллигенцию-потаскуху!”

Каверин и Шкловский, кстати, заседали в ЦДЛовском зале на вечере памяти Тынянова. И Шкловский лично пригласил в этот президиум Белинкова, чья книга (на которую первую хвалебную рецензию написал опять же Шкловский, – по его мнению, “книга не только разрешает важнейшие проблемы современного исторического романа, но и ставит коренные вопросы развития сегодняшней советской литературы”), по существу, и напоминала объёмную “листовку”.

В этой “листовке” писалась история “сдачи и гибели советского интеллигента”. Потом так будет называться белинковская книга об Олеше. Но сия схема уже была начертана именно в “Юрие Тынянове”: герой этой книги на своей поздней стадии жизни – именно в 1930-е годы – крайне не нравился автору.

“Для Тынянова 30-х и особенно начала 40-х годов – перед войной и в начале войны – самодержавное государство, не отделявшееся в пору диалогии от страны, теперь со страной не совмещается. Между страной и государством знак равенства перечёркивается. Происходит отделение государства от страны. В эти годы из написанного Тыняновым становится ясным, что страну с феодальной монархией он не отождествляет. (Это “неотождествление” вызывает крайнее раздражение у Белинкова. – С. К.). На то, что именно такое, а не иное государство может быть порождено определёнными особенностями истории, Тынянов не обращает внимания. И поэтому последнее его произведение замкнуто, связь происходящего в нём с предшествующей эпохой ограничена, а выход в последующую непредставим. Будущее народа дремлет в его прошлом, и, если некогда в истории страны был Павел, то люди должны помнить, что может прийти Николай. Но Тынянов в последнем романе не говорит о том, что история не только терпит злодеев, но и порождает их. Поэтому в последнем его романе государство существует само по себе, а народ – сам по себе или же они без особенных осложнений уживаются, и поэтому для романа, начатого в 1935 году и оборванного в 1943-м, естественны

высказывания, которые нельзя представить в диалогии: "... он был выслан не прочь из России, не в Испанию, не туда, подальше, а в Россию; родная держава открылась перед ним. Он знал и любил далёкие страны как русский. А здесь с глазу на глаз, лбом ко лбу столкнулся с родной державой и увидел, что самое чудесное, самое невероятное, никем не известное — всё она, родная земля, родная держава". "История русская, родина русская, стародавняя... Как часто ворчал он на отечество, когда канцелярии свистом перьев писали о нём... История земли русской..."

"...Россия..."

... родная держава...

... родная земля...

... родина русская...

... история земли русской..."

Это кажется неожиданным для Тынянова, который до сих пор не говорил в одном абзаце об "отечестве" и о "канцелярии" и всегда резко и справедливо писал о самодержавном государстве, которое казнило декабристов, убивало поэтов, душило свободу. И не только в своих пределах, но и далеко за ними. Ведь царская Россия действительно была тюрьмой народов и жандармом Европы.

... В диалогии (речь идёт о романах "Кюхля" и "Смерть Вазир-Мухтара". — **С. К.**) писатель, несомненно, более трезво и жёстко оценивал историю самодержавного государства. Эта тема в первых романах проходит менее интенсивно, более сдержанно и лирической окраски не имеет. Она лишена самостоятельного значения и, в отличие от "Пушкина", связана не с Отечественной войной, а с крепостным правом и подавленным восстанием. Поэтому в эмоциональной окраске темы преобладают горечь и раздражение. Первые романы прикрепляют тему к строго определённым историческим периодам — ко времени Александра, ко времени Николая. В "Пушкине" же она взята обобщённо и больше связана с историей далёкого прошлого, чем со временем повествования. Далёкое прошлое иной раз может показаться и привлекательнее".

Отношение к России у Белинкова не менялось никогда — его русофобия была выношенной, выняченной в душе и всегда заострённой. А при словах "русская земля" его, кажется, перекашивало от ненависти.

Мариэтта Чудакова вспоминала колоритную сценку диалога с этим "мучеником идеи":

"Помню его решительные слова, обращённые к нам с А. П. Чудаковым: — Ну, какие вы русские? Вы тоже евреи! — Я русский... — вяло, но твёрдо возразил Чудаков. — Евреи, евреи! Раз вы против этой власти — значит, евреи! Все русские интеллигенты — евреи!" "Его неутолимое презрение доплеснуло до наших дней", — с торжеством пишет Мариэтта Омаровна...

В этот портрет неистового проповедника свободы естественно — как бы кто ни удивлялся — ложится штрих, запечатлённый в мемуарах Олега Михайлова о работе над статьями для "Краткой литературной энциклопедии" (Белинков также был автором многих статей в этом издании):

"Очередной курьёз ожидал меня после написания статьи о Блоке. Будущий диссидент А. В. Белинков, которому послали её на внутреннюю рецензию, нашёл статью крайне реакционной, а моё утверждение о том, что предсмертная речь Блока "О назначении поэта" явилась его духовным завещанием, и вовсе вызвало его негодование. Оно, по его словам, должно было доставить радость белой эмиграции. В результате он сделался моим соавтором, переписав статью в "советском духе", а вскоре бежал из страны и за рубежом "полоскал" советскую власть".

... Прочтя первое издание белинковской книги, Кожинин заинтересовался этим человеческим и творческим экземпляром и пожелал лично с ним познакомиться... О дальнейшем ходили только слухи. Якобы Белинков на пороге не пустил пришедшего к нему Кожинина и чуть не спустил его с лестницы, заявив: "Ваш тесть виновен в моей посадке"... Белинков уже до этого в разных "кругах" рассказывал, как "его следователь с допроса трижды звонил Ермилову", причём, как вспоминала Раиса Орлова, "каждый раз — в новом варианте". Возможно, в сознании Белинкова (к его вящей выгоде) одна картина заменила собой другую. В 1956 году сам Белинков, незадолго до этого освобождённый, явился в Лаврушинский переулок на квартиру к Илье Сельвинскому... Отсидевший лагерник явился к благополучному советскому поэту —

предъявлять некий счёт. Сельвинский счёта не принял – и выставил Белинкова из квартиры. Так что в рамках позднейшей литературно оформленной легенды Кожин занял место самого Белинкова, а Белинков – Сельвинского.

“Каждый раз в новом варианте” неуёмный сочинитель повествовал и о своей лагерной эпопее. О том, что поначалу якобы был приговорён к смертной казни (чего в помине не было). О том, что в него “стреляли из пистолета на следствии” и “били из автомата на этапе”. О том, что его “положили в штабель с замёрзшими трупами”. О том, что он весь срок пробыл на общих работах (на которых не был ни одного дня: руководил драматическим кружком, работал в санчасти, писал романы и, как вспоминал сосед по зоне Марлен Кораллов, ему было “тепло и неголодно”)... Речь в данном случае только об одном: о буйной (и небезобидной) фантазии сей литературной “звезды”, который рассказы о нарядчике, якобы обещавшем особо отличившихся зеков похоронить “в гробах”, пережегал восклицаниями, что “Твардовского и Кочетова надо повесить на одной осине”... При этом слушатели душераздирающих историй не могли не обратить внимание на руки рассказчика “с длинными пальцами, ухоженные руки барина. Что эти руки держали лопату, кирку, железную миску с баландой – представить мне трудно” (Раиса Орлова).

Таков был ещё один герой “трудовых литературных будней” начала 1960-х. Доверять его рассказам, в частности, о знакомстве с Кожинным невозможно в принципе. А как это знакомство состоялось на самом деле, история, увы, умалчивает.

В этом же году состоялся выход ещё одной книги, ставшей в определённых литературных и околосредовых кругах новым символом “свободолюбия”.

В серии “Жизнь замечательных людей” появилась биография Чаадаева. Автор – Александр Лебедев, которого Кожин хорошо помнил по филологическому факультету МГУ и который отличился в студенческие годы бескомпромиссным “наездом” на Абрама Белкина. В начале 1960-х он пришёл на службу в издательство “Советская энциклопедия”, где встретился с Белкиным лицом к лицу.

– Саша! Вы ничего не хотите мне сказать? – поинтересовался Абрам Александрович.

– А что? – искренне удивился Саша.

– Хотя бы извиниться...

– За что? – Саша в самом деле всё начисто забыл.

– За компанию против космополитов, – устало выдохнул Белкин, похуже, уже жалея, что вообще завёл этот разговор.

– Ах, это... Ну, что вы! Ведь это дела давно минувших дней...

В самом деле, нынешние дни требовали уже иного... Требовалось воспеть новых героев – борцов за свободу. Говоря о них, ушедших, дать понять, насколько они и их проповедь свободы необходима в настоящем. И Лебедев после “Героев Чернышевского” (1962) и “Эстетических взглядов А. В. Луначарского” (1962) перешёл к Антонио Грамши и Петру Чаадаеву.

Книга “Чаадаев”, конечно, уступала “Юрию Тынянову” в публицистичности, но написана была легко (местами даже “воздушно”). Не уступала в другом: в абсолютной категоричности тона, а превосходила её, пожалуй, в сконструированной не за страх, а за совесть фальсификации как самой эпохи, так и образа главного героя.

Кожин с трудом верил своим глазам, когда читал это сочинение всюду расхваленного, восторженно превозносимого автора: “Пушкин, Грибоедов, Чаадаев, чудом уцелевший декабрист Михаил Орлов... вынужденно оказались... родоначальниками “лишних людей” в истории русской освободительной мысли. Они были лишними для российской государственности...”, “После молодчества юных лет Катенин стал спиваться, Языков душевно постригся в почти казённый мистицизм, Пушкин впал в тяжкий духовный кризис...” О Чаадаеве: “Он был первым западником, то есть именно русским человеком “западной ориентации”...”, “Нет, не мысль о “родных снегах” или “родных берёзках” влечёт его в Россию. Страшноватым представляется ему “родное житьё”, жутью веет на него от мысли о грядущем “коротании жизни на родине”... Два чувства, едва ли не в равной мере острых борются в Чаадаеве – тоска по родине и страх перед идиотизмом деревенской жизни, с которым, как полагает Чаадаев, ему неизбежно придётся столкнуться по возвращении

домой...” Чем дальше — тем любопытнее: до каких ещё извращений додумается этот лихой историк литературы и общественной мысли? “Надежда может осуществиться, иллюзии не осуществляются никогда. Двадцатые годы XIX века были эпохой великих надежд. Тридцатые — время иллюзий... Иллюзия — это горький послевкус неосуществлённой надежды... И когда история обманывает надежды, иллюзии пытаются скрыть этот обман, выдавая его за истину...”, “Для религиозно мыслящего человека отчуждение его человеческой сущности в его собственной религиозности, естественно, выступает в совершенно неосознанной форме. Человек в этом случае не понимает, что в действительности он уже примирился и со своей собственной глупостью...”, “Надо сказать, что вообще официально-самодержавная теория, согласно которой всякая “крамола” проникает на “святую” Русь с этого самого “гнилого Запада”, — теория с точки зрения даже психологической совершенно троглодитская. Она шла от древнего-предвечного поверья: человека глазазили... В то же время эта теория отражала в чаадаевские времена и вполне полицейский взгляд блюстителей николаевской государственности на распространение идей, как на всякую контрабанду: закройте границу, и крамола прекратится. Теперь власти страшились импорта республиканских идей, революции...”

Но это — ещё “цветочки”, вперемежку с которыми были рассыпаны по тексту книги самые настоящие “ягодки”: “общественный индифферентизм становился социальной эпидемией среди наиболее передовой и наиболее мыслящей части русского населения” (и сразу же, как иллюстрация сей глубочайшей мысли, следовал полный текст стихотворения А. С. Пушкина “Недорого ценю я громкие права...”); “... в том безвременье, которое засасывало и оглупляло тогда и самых даже передовых людей, в период, когда былые идеалы рухнули, а новым неоткуда было пока ещё и взяться, за хрустальную соломинку интеллектуальнейшего чаадаевского мистицизма могли бы ухватиться многие”; “Вот и славянофилы припадали к народу и клялись им, абстрагируя в этом понятии свою собственную социально-политическую программу. Программа эта, вне сомнения, отличалась — и у некоторых славянофилов весьма и весьма резко — от принципа официальной “народности” русского самодержавия, но к народу в собственном смысле этого слова, конечно же, отношение имела весьма малое... Оставалось... создать в этом царстве духовного разврата и девальвации всех нравственных ценностей свой собственный моральный “микроклимат”...”; “Люди остановились в недоумении: они не знали, что им было делать. Отсюда и та эмоция глубочайшего социального отчаяния, которое тогда вдруг поразило передовое русское общество. Люди как бы окаменели в каком-то холодном ужасе”... И как мощный аккорд, на музыкальную волну которого настроено всё повествование о “Басманном философе”: “Собственно говоря, для России, для страны в целом Чаадаев никакого выхода не видит. Да и не берётся его отыскивать (!!! — С. К.) — ведь действие “неисповедимого рока” предугадать нельзя. Но выход для отдельно русского человека, для частного человека тут, по его мнению, всё-таки остаётся... Если Россия не может уже “переиграть свою историю”, то отдельный человек может всё-таки в какой-то хотя бы мере стать творцом своей собственной истории. Для этого же есть только один путь — духовное сближение с Западом...”

Это был типичный “шестидесятнический” Чаадаев, и вся книга Лебедева была пропитана комплексом “шестидесятничества”, комплексом вечного “женеха”, а не “мужа”. Хуже, впрочем, другое. Этот образ Чаадаева-индивидуалиста, Чаадаева-западника, единственного “живого в “стране мёртвых душ”, в которой “душилось всё живое” — сохранился на долгое время... Ещё десятилетия спустя пламенные ораторы с пафосом вещали, что они по-чаадаевски “не научились любить родину с закрытыми глазами”, изливая при этом свою к ней патологическую ненависть.

Само собой, не могло обойтись без Чернышевского (“нация рабов”) и благожелательнейшего цитирования Ленина в связи с этим выражением... Но думается, последней каплей для Вадима Валериановича стало “соединение” искажённого Чаадаева с не менее искажённым Гоголем, с которым лебедевского героя якобы связывало “общее социальное настроение”, “... с Гоголем “Мёртвых душ” — этим, как писал Герцен, “криком ужаса и стыда, который издаёт человек, когда он вдруг увидит в зеркале своё оскотиневшееся лицо”...

...Ещё год назад, отвечая на анкету “Вопросов литературы” о состоянии современного литературоведения, Кожинот отметил: “Сделано многое, но ещё больше не сделано”. И специально остановился на “не сделанном”: “Наиболее печален, на мой взгляд, тот факт, что мы мало, а иногда и совсем не изучаем и, более того, в той или иной (подчас очень значительной) мере недооцениваем наследие целого ряда первостепенных русских поэтов, писателей и критиков – таких как Баратынский, Вяземский, И. Киреевский, Языков, В. Одоевский, С. Аксаков, Фет, Григорьев, Полонский, Лесков, Страхов, Анненский и др. Справедливости ради следует подчеркнуть, что очевидная для меня более или менее резкая недооценка всех этих писателей уходит корнями в дореволюционное литературоведение. Но это не снимает с нас вины за то, например, что книготоргу пришлось “уценить” изданное более чем после полувекотого перерыва собрание сочинений одного из величайших творцов русской прозы Лескова... Ибо художественное воспитание читательских масс – неотъемлемая задача науки о литературе... Необходимо, кстати, иметь в виду, что недостаточное изучение наследия перечисленных писателей и критиков весьма пагубно сказывается на понимании творчества гениальных художников, теснейшим образом связанных с теми или иными из них, – Пушкина, Гоголя, Достоевского, Островского, Толстого...”

Вот и сейчас, читая лебедевского “Чаадаева”, он, абстрагируясь от всей “современности” и “прогрессивности” книги, видел в ней “дореволюционное пережёвывание” давно устоявшегося, более того: создавалось впечатление, что автор не читал ничего из своего героя, кроме первого “Философического письма”... Появилась прекрасная возможность воплотить свою “утопию”: “написать что-нибудь о 20–40 годах прошлого века” – “одной из самых великих эпох в культуре”. Так родилась работа “К методологии истории русской литературы (О реализме XIX века)”.

Главные её герои – Пушкин, Чаадаев, Гоголь. Писалась она в общей сложности два года, насчитывала не один вариант и, в конце концов, разделилась на две самостоятельные части, первая из которых получила в окончательной редакции (вошедшей в кожиновские книги) название “Чаадаев и Гоголь. О литературе 1830-х годов”.

Прежде всего, Кожинот очертил временные границы этого периода, не совпадающие с хронологическими рамками: “30-е годы” начинаются сразу после 1825 года, после восстания декабристов... Конец периода относится, очевидно, к 1841–1842 годам... Почему именно к ним? “Мёртвые души”, изданные в 1842 году, явились осуществлением пушкинского замысла... ещё подлинно пушкинской поэтической культурой проникнуты были вышедшие в том же году “Сумерки” Боратынского... И, пожалуй, именно 1842 год – год раскола русской культуры на славянофильство и западничество – является границей эпохи” (как раз в это время ту же границу провёл профессор филологического факультета МГУ Александр Николаевич Соколов в своей “Истории русской литературы XIX века”). Самое главное, что стремится подчеркнуть Кожинот: “это совершенно особая и необычайно существенная литературная эпоха. Но именно эта эпоха понята и оценена в нашем литературоведении весьма неточно и односторонне”... Намеренно дипломатично и мягко сказано! Дальше ведь следуют цитаты из Лебедева – как раз про “царство духовного разврата и девальвации всех нравственных ценностей”... “...Это говорится, – слегка повышает тон разговора Кожинот, – об эпохе Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Боратынского, Тютчева, Кольцова, об эпохе, когда выступили в расцвете сил такие глубокие мыслители, как Чаадаев, Владимир Одоевский, Иван Киреевский, Лобачевский, такие великие творцы русского искусства, как Глинка, Мочалов, Александр Иванов... У нас нет, в сущности, ни одной специальной работы о литературе 30-х годов... за всю историю русского литературоведения. 30-е годы всегда “причисляются” либо к 20-м, либо к 40-м. При этом их великое значение и самая их проблематика как бы растворяются”.

Он, по сути, не то чтобы отказался совсем от рассмотрения истории русской литературы в русле взглядов так называемых революционных демократов, но существенно скорректировал восприятие их духовного наследия (дав повод своим будущим критикам для обвинений в противопоставлении “реакционеров” “прогрессистам”): “Изучение истории русской литературы развивалось преимущественно в русле идей таких влиятельнейших критиков XIX ве-

ка, как Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов. И отдельные положения этих критиков, увлечённых, прежде всего, литературной борьбой, были восприняты многими исследователями неверно, слишком прямолинейно и поверхностно”.

Он поставил в центр своего исследования – в самом деле, ставшего первым серьёзным исследованием этой эпохи в истории русской литературы XIX столетия – “Философические письма” Чаадаева и “Мёртвые души” Гоголя. Но для начала ответил всем, считавшим 30-е годы периодом “духовного упадка” – причём со ссылками на их любимого Герцена! Все уничтожающие характеристики этого полуторадесятилетия, высказанные в его книге “О развитии революционных идей в России” (эта книга стала настольной для многих в 1960-е годы), Кожинов вполне справедливо объяснил тем, что “Герцен пишет о 30-х годах по юношеским воспоминаниям... Нельзя не учитывать также, что многое из созданного в 30-е годы не получило широкой известности или вообще было опубликовано позднее”. Что восприятие Герценом первого чаадаевского “Философического письма” как “выстрела, раздавшегося в тёмную ночь”, было “естественно для ссыльного юноши, живущего в глухой Вятке. Но историк литературы не имеет права забывать, что в год опубликования чаадаевского “Письма” состоялась премьера “Ревизора”, были напечатаны “Капитанская дочка”, “Скупой рыцарь”, “Нос”, сборники стихотворений Кольцова и Полежаева, поставлены глинкаевский “Сусанин” и “Гамлет” с Мочаловым, начал издаваться пушкинский “Современник”, где, в частности, появились двадцать четыре тютчевских шедевров, вышла в свет “Воображаемая геометрия” Лобачевского, что в это время Гоголь уже писал “Мертвые души”, Лермонтов закончил “Маскарад” и начал “Демона”, а Александр Иванов создавал “Явление Христа народу” и т. д., и т. п. Всего этого Герцен, конечно, не мог знать, и только потому жизнь русской культуры представлялась ему “темной ночью”, о которой даже “ничего было сказать”.

Говоря дальше, что Герцен в статье “Русские немцы и немецкие русские” “значительно изменил и обогатил... оценку” этой эпохи, Кожинов намеренно выделил у классика фразы, которые заключали в себе всю суть дальнейшей разговора: “Николай... не виноват в пользе, им сделанной, но она сделана. Юношеская самонадеянная мысль александровского времени смирилась, стала угрюмее и вместе с тем серьезнее... Удивительное время наружного рабства и внутреннего освобождения...” Он опускал целые звенья в герценовских рассуждениях, чтобы выделить главное для себя. Герцен далее продолжал: “Настоящая история этого времени не на Кавказе, не в убитой Варшаве, не в острого Зимнего дворца, она в двух-трёх бедных профессорах, в нескольких студентах, в кучке журналистов”. Кожинов игнорировал это высказывание, дабы не вступать с Герценом в бесплодную полемику, ибо для него – русского гражданина 60-х годов XX века – настоящая история того времени была и в Варшаве, и на Кавказе, и в Зимнем дворце и – самое главное – в тех высших достижениях русской мысли и культуры, что он перечислил ранее.

Кожинов доносил до своих современников очевидную, но так и не усвоенную (и не способную усвоиться несколько десятилетий!) мысль, что эпоха политической “реакции” сплошь и рядом чревата высочайшими культурными взлётами. Примитивная логика, писал он, по которой “время деспотической деятельности” – это “время упадка”, тогда как “время либеральных реформ” – это “расцвет искусства и мысли”, “начисто опровергается реальной историей литературы”. Отсюда был прямой выход на поле широких и явно противоречащих господствующим умонастроениям обобщений: “Судьба декабристов показала, что невозможно одним ударом разрешать жизненные противоречия... Перед русской культурой впервые раскрылась во всём своём значении история народа и объективный ход национальной истории”.

В контексте этого разговора Кожинов отверг комментарий Александра Цейтлина, искажающий смысл стихотворения Боратынского “К чему невольнику мечтания свободы?..”, и перешёл к Чаадаеву, указав, что беспощадность его приговора (“Мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих” – мысль, которую с особым нажимом “озвучивал” Лебедев) вызвана “уверенностью в необходимости и возможности становления великой русской культуры и осознанием начала этого становления. Здесь нет никакого парадокса. Ни один серьёзный мыс-

литель не будет упрекать свой народ за то, что он ничему не научил человечество, если не видит реальных возможностей для этого. А Чаадаев не только видел эти возможности в современной ему русской культуре, но был убеждён в их близком осуществлении... Резкость первого чаадаевского “Письма” объясняется именно тем, что это “призвание”, в котором он “глубоко убеждён”, пока ещё не было осуществлено русской культурой. Но Чаадаев писал об этом с острым и неопровержимым чувством того, что новая русская культура — на пороге зрелости, что, в частности, его собственная бесстрашная мысль есть свидетельство и выражение этой непосредственно наступающей зрелости”.

И далее Кожин приводит текст письма Чаадаева Пушкину 1831 года с восторженными словами о стихотворении “Клеветникам России” (Лебедев сделал вид, что этого письма не было вообще), приводит строки из его послания Андрею Тургеневу 1835 года: “...Я держусь того взгляда, что Россия призвана к необъятному умственному делу...” (здесь Вадим Валерианович в своём стремлении донести главное, думается, зря оборвал цитату; дальше следовало: “...Её задача — дать в своё время разрешение всем вопросам, возбуждающим споры в Европе”, — и опять же ничего подобного у Лебедева нет: то ли не читал вообще, то ли не счёл нужным “портить” свой портрет Чаадаева). И, наконец, привёл “замечательное рассуждение” философа, в котором он ещё в 1835 году решает вопрос о том, совместим ли расцвет культуры с деспотизмом”... Эта цитата воспринявшим как откровение лебедевскую “чаадаевщину” стала поистине поперёк горла:

“Мы сваливаем всю вину на правительство. Правительство делает своё дело, только и всего; давайте делать своё, исправимся. Странное заблуждение считать безграничную свободу необходимым условием для развития умов. Взгляните на Восток! Разве это не классическая страна деспотизма? И что ж? Как раз оттуда пришёл миру всяческий свет”.

Далее пошёл разговор о подлинном смысле и природе смеха гоголевских “Мёртвых душ”, не оставивший камня на камне от всех лебедевских (и не только лебедевских) построений. Но об этом мы поговорим в своём месте. Статья была ещё в работе, когда Кожинова настигло творение современника, которое было при первом же чтении воспринято как родственное русской классике.

* * *

Пожалуй, после солженицынского “Одного дня Ивана Денисовича” ни одно более прозаическое произведение, опубликованное в Советском Союзе, не вызвало такого шквала разговоров и статей (в которых восторги чередовались с недоумениями, а похвалы сквозь зубы с вульгарно-социологическими “накатами”), как “Привычное дело” Василия Белова.

Повесть к моменту своего выхода в номере первом петрозаводского журнала “Север” за 1966 год уже успела попутешествовать по разным московским редакциям. Сначала её отвергли в “Нашем современнике” (который тогда ничем не напоминал журнал, сложившийся через несколько лет). Потом последовало возвращение её из редакции “Нового мира” (видимо, в восприятии редакторов “самого прогрессивного журнала” образ главного героя явно не совпал с образами колхозных работников, запечатлённых в очерках Валентина Овечкина, Георгия Радова и Ефима Дороша. Думается также, что после разразившегося скандала с публикацией “Вологодской свадьбы” Александра Яшина журнал не рискнул печатать куда более пронзительную, трагическую и художественно совершенную вещь). Но именно провинциальное издание сделало русской литературе настоящий подарок.

“Студенты, школьники, старики, — вспоминал через полтора десятка лет Фёдор Абрамов, — все бегали по библиотекам, по читальням, все охотились за номером малоизвестного дотоле журнала “Север” с повестью ещё менее известного автора, а раздобыв, читали в очередь, а то и скопом, днём, ночью — без передыху. А сколько было разговоров, восторгов в те месяцы! Покойный Георгий Георгиевич Радов, встретив меня в Малеевке, в писательском доме, о чём вострубил первым делом? “Старик, в России новый классик родился!” Было удивительно и другое. “Привычное дело” приняли все: и “либералы”,

и “консерваторы”, и “новаторы”, и “традиционалисты”, и “лирики”, и “физики”, и даже те, кто терпеть не мог деревню ни в литературе, ни в самой жизни”.

Приняли, конечно, не все — даром что номер “Севера” с повестью, действительно, рвали из рук, как когда-то “Новый мир” с первой солженицынской публикацией. Но что касается тех, кто “терпеть не мог деревню ни в литературе, ни в самой жизни” — здесь Абрамов знал, о чём говорил. Вадим Валерианович и спустя десятилетия не мог успокоиться, вспоминая опубликованную в “Новом мире” статью Владимира Лакшина “Иван Денисович, его друзья и недруги”.

Интересная была личность — Владимир Яковлевич Лакшин. Человек огромной начитанности, благоговеющий перед классиками, автор объёмных и небезынтересных трудов о Толстом и Чехове, последовательный демократ (как он сам постоянно подчёркивал, противопоставляя демократа либералу)... В своё время в начале 1950-х в МГУ отличился наравне со своим будущим сослуживцем по “Новому миру” Игорем Виноградовым в тогдашних кампаниях не меньше Лебедева (Николай Калининкович Гудзий, услышав от Олега Михайлова о том, что тот приятельствует с Лакшиным, выронил портфель и прошептал в тихом ужасе: “Это же страшный человек...”). Потом, как и многие, “сменил вехи”, и его “демократизм” сказался в едва ли не самой известной из новомировских статей о солженицынском герое: “Невольной начинаешь думать о том, как нужен, просто необходим был бы он в своей деревне, в колхозе, где после войны мужики наперечёт. Как бы он со своей совестью и рабочей хваткой помогал бабам тянуть колхоз”.

В общем — годная рабочая лошадь в человеческом облике, которую выгоднее держать в колхозе, а не в лагере (примерно так же через несколько лет беловского героя Ивана Африкановича на страницах “Вопросов литературы” сравнят с его коровой Рогулей)... Но даже это ещё куда ни шло... Через год на страницах “Знамени” появится очерк “К портрету державы” публициста В. Травинского — одного из многочисленных тогда поборников сельскохозяйственных “реформ”: “Проблема освободившейся земли и непристроенных рук? (Речь шла о массовом уничтожении так называемых “неперспективных деревень”, начавшемся ещё в начале 1960-х. — С. К.) Для России, во всяком случае сегодня, это не проблема. 19 миллионов колхозников и 7 миллионов работников совхозов, участвовавших в сельскохозяйственных работах в 1964 году, сей момент нашли бы применение в промышленности Сибири и Дальнего Востока, снабди их жильём и едой...” Да любая коллективизация бледнеет перед этим проектом! Потом сии замечательные фантазии по достоинству оценит Анатолий Ланщиков в статье “Деревня и “деревенская” проза: “Травинский полагает, будто крестьянину не нужны ни школы, ни университеты, ни театры, дай ему только харч и крышу и можешь гонять его по всему белому свету... Представьте себе, кто-то написал очерк, в котором предложил бы, обеспечив едой и жильём, переселить в Сибирь и на Дальний Восток не крестьянство, а... интеллигенцию. Тут бы пошли такие аналогии и такой подтекст (хотя бы в связи с географией), что не приведи Господь!”

* * *

Сошлюсь на воспоминания ещё одного живого свидетеля — горьковеда Александра Овчаренко: “Помню, как в 1966 году Я. Е. Эльсберг останавливал чуть ли не каждого сотрудника Института мировой литературы вопросом: “Читали “Привычное дело” в журнале “Север”?” Он не отрицал исключительной талантливости автора, даже восхищался ею. Но уточнял своё мнение: “Автор идеализирует старые крестьянские нравы, обычаи, традиции”.

После такой характеристики — по тому времени — вылезешь из собственной кожи, чтобы найти, достать, прочесть!

И казалось бы: после яшинских “Рычагов”, той же “Вологодской свадьбы”, солженицынского “Матрёниного двора” сильнее о современной (уже уходящей) русской деревне не скажешь... Но одно дело — очерк, зарисовка, бытовая сценка (пусть даже с динамитным смыслом) или рассказ в духе и стиле разноречивой литературы 60-х годов XIX века (что говорится совершенно не в унижение). И совсем другое — “глубоко объективное и многостороннее освоение жизни современной деревни, представляющее, как ценнейшее

художественное открытие”, как написал Кожин в статье “Искусство живёт современностью”.

“Почти двадцать лет назад, — вспоминал Вадим Валерианович в конце 1970-х годов, — он (Белов. — **С. К.** создал повесть “Деревня Бердяйка”, в которой уже предстал как зрелый и большой художник. Но повесть, опубликованная в 1961 году, прошла почти незамеченной. Не заметил её и я. Василий Белов вошёл в мою жизнь, благодаря январскому номеру журнала “Север” за 1966 год, где было опубликовано “Привычное дело”. Без всякого преувеличения скажу, что я был потрясён этой повестью. В то время я почти не писал о “текущей” литературе, но тут уж никак не мог удержаться. . .”

И кожиновская статья в “Вопросах литературы”, по сути, положила начало совсем иному разговору о русской прозе на совсем ином уровне.

“Книги о деревне, — писал он, основываясь уже на прочитанном “Деревенском дневнике” Дороша и подобных ему книгах, — быть может, наиболее явно вдохновляются пресловутой “критикой”. И бывает так, что первая часть произведения “устаревает” раньше, чем появляется вторая. В повествовании В. Белова вообще нет “критического” пафоса. . . С удивительной органичностью сливаются здесь народный комизм и трагедийность, стихия эпоса и проникновенная лирика. И как естественный плод открытия рождается настоящее, самобытное искусство прозы. . . В. Белов создал образцовую, в точном смысле слова, художественную речь, без которой в конечном счёте было бы невозможно открытие писателя, сама его народная и человеческая мысль. . .”

Через два года Кожин напишет отдельную работу, посвящённую именно художественной речи “Привычного дела”. . . Но перед этим он примет участие в первой объёмной дискуссии на страницах “Литературной газеты”, посвящённой так называемой “деревенской прозе”.

Уже лет пять этот термин бродил по критическим отзывам и рецензиям. Впервые его “озвучил” ленинградский критик и историк литературы Владимир Акимов в 1962 году. Потом подхватил Александр Макаров. Оба критика были весьма “всеядны”, писали о ком угодно, не разделяя беллетристику и собственно художественную литературу. И в словосочетании “деревенская проза” ошутимо слышалось если не презрение, то, во всяком случае, пренебрежение. Дескать, есть такой занятный в нашей литературе экзотический “фрукт”. Можно и попробовать. . .

Начал свою статью “Ценности истинные и мнимые” Кожин с того, что “деревенская тема” — всегдашняя тема нашей литературы. Но она приобрела новое и очень существенное значение. Для ряда прозаиков, составляющих. . . одно из ведущих направлений в сегодняшней литературе (выделено мной. — **С. К.**), она имеет принципиальный характер, является, так сказать, не только темой, но и идеей”. . . К этим прозаикам Кожин отнёс Василия Белова, Евгения Носова, Георгия Семёнова, Василия Шукшина, Анатолия Ткаченко, Вячеслава Марченко (за исключением последнего, неплохо начинавшего, но так и не сумевшего создать ни одного зрелого цельного произведения, все они оставили поистине драгоценное творческое наследие). Кожин сразу обозначил главное: в центре творческого мира этих прозаиков присутствуют “не собственно “деревенские” проблемы, а гораздо более широкие”, они, как подлинники художники, говорят “о жизни в целом, о всеобщем смысле времени”. . . “Все чувствуют присутствие в этих книгах какого-то особенного и необычайно важного смысла, выходящего далеко за пределы “деревенской темы” как таковой. Но смысл этот не был выявлен с необходимой ясностью. А иногда он даже и затемнялся”. Затемнялся критиками, которые подходили к беловскому герою — Ивану Африкановичу — с зауженными, преимущественно вульгарно-социологическими мерками. Тот же Ефим Дорош, назвавший сорокалетнего Ивана Дрынова “пожилым мужиком” и “человеком обыкновенным”, свою статью посвятил рассуждениям на тему “и крестьяне чувствовать и любить умеют”, ибо главное то — “что они люди”, и это якобы больше всего интересует Белова. За кого беловских героев держал сам Дорош — остаётся только гадать. . . Включился в дискуссию и престарелый Фёдор Левин, выпускник Института красной профессуры, довоенный председатель правления “Советского писателя” и главный редактор “Литературного обозрения” (журнала, давно прекратившего своё существование). Написав о персонажах “Привычного дела”, как о людях, “которые живут простой трудовой жизнью”, он задался вопросом, который преподнёс как риторический:

“У них ли найдём мы ответы на сложнейшие вопросы, стоящие перед нашим обществом, вопросы социальные, философские, нравственные?” И ведь не только он один “баловался” подобной риторикой (которую точнее всего определить, как демагогию).

Кожинов ответил на этот и подобные ему “недоумённые” вопросы.

“Человек, живущий на земле, вросший в неё корнями, сохраняет полноту восприятия мира; в нём — пусть в зачатках, но цельно, органически, полнокровно — живёт вся цивилизация, вся культура — труд, мысль, нравственность, искусство. Если бы даже исчезла вся жизнь за пределами того клочка земли, на котором и которым он живёт, он всё равно остался бы таким, каков он есть, и из него, как из зерна, возродилось бы всё богатство общественного мира, ибо он несёт в себе цельность человеческого бытия и сознания. Между тем человек любой профессии зависит от множества иных профессий и деятельностей, и, в первую очередь, от крестьянства. И если бы исчезло то, от чего он зависит, он погиб бы или превратился — хотя бы на первых порах — в дикаря... Нельзя забывать о том, что мысль философа, действие воспитателя, творчество художника — это уже неизбежно самодовлеющие сферы, развивающиеся своими особыми путями, отделённые от целостной реальности жизни... И эти сферы имеют смысл и оправдание только потому, что вне их, в той или иной мере отдельно от них существует жизнь, в которой они черпают всё своё содержание... Если бы в реальной жизни таких людей, как герой В. Белова, не было раскрытого писателем содержания, всё то, что мы называем культурой, было бы бессмысленной игрой, фикцией, иллюзией, даже ложью... Несомненно, что писатель находит “ответы” на все волнующие его “вопросы” именно в процессе глубокого освоения реальной жизни народа... Именно в их бытии и сознании (таких людей, как беловский Иван Африканович. — С. К.) искали “ответы” и Толстой, и Некрасов, и Пришвин, и Шолохов...”

Вступившие с Кожиновым в полемику едва ли прочитали внимательно текст его статьи (мы ещё не раз увидим, как на Вадима Валериановича бросались, словно спущенные с цепи, его, по сути, не читавшие). Владимир Воронов не сдерживал своих эмоций по отношению к беловскому герою (это о нём, что ли, пишут, как о “человеке в наиболее полном, целостном значении слова”?!): “Смотрите, сколько в ней (личности Ивана Африкановича. — С. К.) социального младенчества, пассивности... Такие люди, как Африканович, только начинают осознавать независимые от них общественные связи. А пока они пребывают в состоянии гражданского неведения, смешно возводить их на пьедестал, как, впрочем, и в любом другом случае...”

Но это случай, что называется, крайний. Более витиевато и вроде логично выстраивал текст своей статьи “О прозе, деревне и цельных людях” Владимир Гусев.

“... Мне странно было читать в статье В. Кожинова... радостные призывы слиться всем с ним, с мужиком, с младшим братом — со ссылкой на классиков...” Тут уж сразу, как говорится: ты сказал! Ведь у Кожинова не было даже намёка ни на “слиться”, ни тем более на “младшего брата” (подобный оскорбительный взгляд на крестьянина ему был не то что не свойственен — крайне враждебен). Он вообще в мыслях не держал (в отличие от некоторых других критиков), чтобы кого-то над кем-то “поднять”. Более того, специально подчеркнул в своей статье: “В повести нет... превосходства человека, живущего на земле, землёй, над людьми, ведущими иной образ жизни, нет идеализации “патриархальности”...” (Куда там! Читали — и не видели, слушали — и не слышали, так эта “идеализация “патриархальности” и докатилась до нынешних объёмных псевдолитературоведческих фолиантов). ... Гусев, возможно, почуял, что перебрал. И далее, слегка успокоившись, сформулировал, достаточно резко отделив классиков от современников: “Иное дело советские писатели. В их книгах было начало изображения народа изнутри самого народа — не сверху, а снизу. Никогда в русской классике, к которой апеллирует В. Кожинов (и в которой, говоря строго, вообще не было деревенских писателей как таковых) мы не видели народный — точнее, крестьянский — быт в такой достоверности, во внутренней органической точности, силе, подробности, как в прозе лучших советских “деревенских” писателей...” Потом эту мысль, практически в неизменном виде, воспроизведёт Александр Солженицын... Тут-то бы и привести слова Льва Толстого, на которого периодически ссылался Гусев, об упадке поэтического творчества в конце XIX века:

“Мне кажется, что это даже не упадок а смерть с залогом возрождения в народности”... Но это был бы тогда не Гусев, как раз стремившийся противопоставить Толстого и Белову, и Кожинovu:

“... Меня тревожит, а порой и пугает стремление многих критиков, используя несомненность, свежесть и силу таланта Василия Белова, сделать из этой повести некое знамя в борьбе с философией, сложностью и умом в искусстве прозы. Да, Белов чуть ли не единственный из нынешних “молодых” знает деревню как следует, изнутри, всерьёз, а не по наездам, не понаслышке; да, он тоскует — но именно тоскует — по цельному и невинному человеку, живущему на земле... и что же из того?.. Иван Африканович, Катя, бабка Евстоля — это во многом утопия и мечта, идиллия, пастораль, плод фантазии художника... И если даже такой писатель, в сущности, внутренне противоречив и не столько целен, сколько мечтает о цельности, то где же мечты В. Кожина о цельном мужике, к которому надо приобщиться заблудшим интеллигентам? Он приобщается, по сути, не к деревне, а к Белову, а Белов... сам мечтает... И вот как рецепт цельности и прочности нам преподносится нечто, не имеющее фактически реального бытия. Мираж во второй инстанции... Опять и опять встаёт, скажем, проблема интеллектуально-сложного человека. От неё не уйти. Русская классика, которой бьёт нас В. Кожин, держалась не только на интересе к народу, но и на этом. Толстой написал не только Поликушку и Каратаева, но и Андрея Болконского... Да и где он — прежний мужик? Где Иваны Африкановичи? Их так мало... Одни разговоры... Да и надуманное это дело — без устали сталкивать лбами интеллигента и крестьянина, тянуть городских в лоно пашни (! — **С. К.**) <...> Так не надо же мешать писателям умными статьями о пользе примитива (!! — **С. К.**)”.

Тут хочешь, не хочешь — вспомнишь Достоевского, его “Записки из Мёртвого дома”: “Не многому могут научить народ мудрецы наши. Даже утвердительно скажу, — напротив: сами они ещё должны у него поучиться”...

Ах да, это же XIX век!.. Только вот уже наступил XXI, а мы всё продолжаем читать о беловской “пасторали”, о “выдуманном мужике”, о “сталкивании лбами интеллигента и крестьянина”... Владимир Иванович Гусев может гордиться: ломясь в 1968 году в открытую дверь, время от времени промахиваясь, расшибая себе лоб об косяк (где это он видел — что у Белова, что у Кожина — “сталкивание лбами интеллигента и крестьянина”, кто из них “тянул городских в лоно пашни”?!), он задал тон целой литературе, которая буквально уничтожала классическую русскую прозу второй половины XX столетия под ключикой “деревенской” — при всём своём субъективном несогласии с этим определением (на какое-то время свои голоса в общий негодующе-презрительный хор вольют и Александр Проханов с Владимиром Бондаренко — будущие редакторы газеты “День”, где будут печататься и Белов, и Кожин, — это, впрочем, уже отдельная история)... А самое замечательное в том, что он фактически отказал повести Белова в “философии, сложности и уме”, более того — уличил её в “примитиве”... И не ему ли позже отвечал не хуже Белова знающий деревенскую жизнь изнутри Фёдор Абрамов: “Сложно, сложно замешан Иван Африканович, так что не сразу и скажешь, по какому разряду его зачислить, но вот что несомненно: образ Ивана Африкановича рождён из самых глубин нашей сложной национальной и социальной стихии, так что в нём отгадка и силы нашей, да одновременно отгадка и слабости нашей, тех несообразностей, которых, увы, нам не занимать”.

(Через три года после публикации повести автор предисловия к её французскому изданию напишет: “Ничем не выделяющийся колхозный возчик, но поэт и философ, сам того не ведающий...” “Привычное дело”, отметит он, “совершенно чуждо высмеиванию из-за угла, фрондирующему подкальванию, которое ещё несколько лет назад воспринималось как гражданское мужество. Белов ведёт свой поиск честно, как нечто само собой разумеющееся, ведёт его до конца...”).

А что касается того, что Иван Африканович — “мечта” и “плод фантазии художника”, то вспоминается одно замечание в критическо-мемуарном очерке Дмитрия Урнова: “... Если мне позволено судить по отложившемуся у меня в сознании, это “Привычное дело” Василия Белова — повесть тряханула, как электрический удар: деревня держится из последних сил...” Этой фразе автор предпослал запоминающееся примечание: “В это время нас, сотрудников ИМЛИ, регулярно направляли на уборку картошки, капусты и других

сельскохозяйственных продуктов. Работоспособных жителей в подмосковных деревнях, где мы трудились, почти не было. Попадались подобия беловского Ивана Африканыча. . .”

Здесь, правда, думаешь не столько о разнице между подмосковными деревнями и деревнями Русского Севера, сколько о том, что самый тяжёлый удар по русской деревне был нанесён во время так называемой “оттепели”, что коллективизацию (при всём трагизме свершившегося) деревня сумела пережить, а новации хрущёвских временщиков и их последователей, методично и планомерно уродующих её облик, обезлюживающих её пространства, сводивших её саму с лица земли, пережить не сумела. И “Привычное дело” – это был первый пронзительный крик о том, что “деревня держится из последних сил” . . .

Иллюзия? Сказка? Пастораль? Как бы к “пасторали” отнеслись земляки Белова, которые, по слову Евгения Носова, “конечно, . . . читали всё, что написано Василием Беловым, иные, возможно, разбирали слова по складам, вода огрубелым пальцем по строчкам. . . Тем паче перед лицом такого внимательного и пристрастного читателя, ей-же-ей, трудно, невозможно, непростительно слукавить. . .”

А ещё думаешь о том, что сам Иван Африканович вполне-то работоспособен: другое дело, что и он стоит у последнего порога прежней жизни.

“Ну, так туда ему и дорога!” – слышалось в голосе ещё одного “дискутанта” – Александра Янова: “Смысл аргументации В. Кожина сводится к утверждению монополии деревенского человека на “целостную реальность жизни” и, соответственно, “истинные её ценности”. Право, жутковатая картина получается. Нам, стало быть, всем людям иных занятий, решительно даёт-ся, говоря языком Щукаря, “отлуп” от истинных ценностей. Не имеем доступа к истинным ценностям, мы вообще не столько живём, сколько функционируем. . .” Опять же: ты сказал! Собственный “апокалипсис” Янов приписал Кожину (не говорившему, естественно, и близко ничего подобного), обнаруживая себя самого вне “истинных ценностей” . . . Но как же можно на этом успокоиться? Дальше нужно приписать оппоненту солидарность сначала с Николаем Михайловским, потом (о, ужас!) – с Константином Леонтьевым, “предлагавшим и вовсе подморозить хоть немного Россию, чтобы она “не гнила”. Сто лет назад такой призыв имел хоть какое-то реальное содержание. В великой же индустриальной России, одном из лидеров мирового прогресса (интересно, продолжал ли так считать Янов после своей эмиграции в США в 1974 году? – **С. К.**), он выглядел бы, конечно, безнадёжным анахронизмом. Оттого-то Кожин и не может противопоставить реальному историческому факту “размывания” истоков ничего, кроме лирической прозы. . .” Янов – завидный оптимист. “Это этап большого пути, а не финал его, как пытается представить дело В. Кожин” . . .

Дискуссии о прозе Белова, Виктора Астафьева, Евгения Носова, Фёдора Абрамова, прогрессившего в литературе на рубеже 1960–1970-х годов Валентина Распутина не утихнут ещё несколько ближайших десятилетий. . . Кожин же подведёт промежуточный итог своим размышлениям в работе “Голос автора и голоса персонажей” (поначалу он объединит в этой работе две части – о “Привычном деле” и шолоховской “Судьбе человека”, но потом откажется от этого варианта и снабдит работу подзаголовком “Привычное дело” Василия Белова): “На протяжении всей повести художник мыслит о мире и человеке, о жизни и смерти, об истине и красоте, не отрываясь от реально воссозданного голоса своего героя – простого современного мужика Ивана Африкановича Дрынова. И делает это. . . для того, чтобы раскрыть земную почву самых глубоких мыслей и чувств. Ту почву, которая породила их и постоянно возрождает во всей жизненной правде, в их органическом единстве с практической полезной деятельностью, в их всеобщей ценности и правде. . . Мыслить о целостности мира, о самых “больших” проблемах в русле народного голоса – в этом и состоит одна из наиболее существенных черт поэтики Василия Белова и его соратников в литературе”.

Это был взгляд на повесть Белова и его соратников с точки зрения художественной. Анатолий Ланчиков подведёт свой промежуточный итог в уже упоминавшейся статье с точки зрения социологической: “. . . Нет у нас никаких особых “деревенских” вопросов и нет у нас никакой “деревенской” литературы – это всё выдумки равнодушных людей. Современные острые вопросы

деревни – это наши общенародные вопросы, от правильного решения которых зависит судьба всего народа, а не только одного крестьянина. Современная литература о деревне – это общенациональная литература, и достижения её способствуют расцвету всей отечественной литературы, в том числе и литературы о городе. Забота о современном городе начинается с заботы о старой деревне. Ведь оно и впрямь, как аукнется, так и откликнется”.

...С самим Беловым Кожинов познакомится через несколько лет и вступит с ним в содержательную переписку. И удивительным на первый взгляд и в то же время совершенно закономерным образом его размышления о “самом замечательном времени” в русской литературе XIX века соединятся с размышлениями о шедеврах литературы современной. Современной – живущей в русле великой традиции, идущей от пушкинских времён, а то и более ранних... Тем более что жгучий разговор об истории и современности придётся на период нового перелома, перемены идеологии, перекрашивания и перестановок очень многого в окружающей жизни. Он и его друзья подойдут вплотную к самому эпицентру серьёзнейшей идеологической схватки, начавшейся в середине 1960-х и не завершившейся по сей день.

(Продолжение следует)